

УДК 94(470+44):"1820"

doi 10.17072/2219-3111-2023-1-134-145

Ссылка для цитирования: *Абдуллаев Я. С.* Заговор «Парижского комитета»: конспирология и имперские элиты в России в последние годы царствования Александра I // Вестник Пермского университета. История. 2023. № 1(60). С. 134–145.

ЗАГОВОР «ПАРИЖСКОГО КОМИТЕТА»: КОНСПИРОЛОГИЯ И ИМПЕРСКИЕ ЭЛИТЫ В РОССИИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСАНДРА I¹

Я. С. Абдуллаев

Калифорнийский университет в Беркли, 3229 Dwinelle Hall, UC Berkeley, Berkeley, CA 94720-2550

yasyn_abdullaev@berkeley.edu

ORCID: 0000-0001-5423-8602

ResearcherID: X-7502-2019

Scopus Author ID: 57205299717

Несмотря на резкий рост популярности изучения теорий заговора в России и на постсоветском пространстве, вниманием исследователей остается обделен период первой половины XIX в. – критически важный для идентификации истоков русской конспирологической традиции и ее динамики. В исследовании предлагается новая интерпретация бытования, распространения и инструментализации конспирологии в конце эпохи правления Александра I. В противовес предшествующей историографии устанавливается, что именно 1820-е гг. ознаменовали начало интенсивного проникновения конспирологического дискурса в российскую политическую культуру и общественное сознание. Под влиянием рецепции трудов западных конспирологов, роста мистических настроений в публичной сфере и революционного вихря в Южной Европе произошла актуализация мифа о заговоре. Один из его конкретных подтипов – мифологема заговора Парижского комитета – приобрел характер языковой гегемонии в александровской России. Исходя из теории политического мифа и современных представлений о генеративном потенциале конспирацизма, доказывается, что основной чертой мифологии заговора в первой четверти XIX столетия являлся ее функциональный потенциал. Циркулируя преимущественно в кругах бюрократии, особенно среди дипломатического корпуса, и духовного сословия, конспирологические нарративы использовались представителями политической элиты на всех уровнях правящей иерархии. С помощью артикуляции мифа о заговоре и говорения на языке конспирологии чиновники и интеллектуалы осмысливали политическую действительность, решали жизненные и карьерные проблемы, выражали лояльность режиму, идентифицировали себя с властью и участвовали во внутриэлитных конфликтах.

Ключевые слова: конспирология, миф о заговоре, политическая культура, европейские революции 1820-х гг., Александр I, А. С. Стурдза, архимандрит Фотий.

Многие из российских чиновников и военных относились к национальному движению православных народов в составе Османской империи с симпатией и даже оказывали ему прямую поддержку. Не было исключением из этого правила и князь Г. М. Кантакузен. Сын молдавского боярина Матвея Кантакузена, переселившегося в Россию в 1791 г., Георгий вступил на русскую военную службу в 1803 г. Пройдя Наполеоновские войны, к 1820 г. он дослужился до чина полковника и вышел в отставку, поселившись в Одессе. Сразу после Кантакузен записался в ряды греческого тайного общества «Филики Этерия» и принял активное участие в подготовке Валахского восстания [*Ари*, 1970, с. 258–261].

В разгар боевых действий летом 1821 г. своими неумелыми действиями он привел повстанцев к поражению под Скулянами и бежал с поля боя. Спустя некоторое время, уже в России, Кантакузен стал жертвой поступающих от этеристов угроз о расправе. Ситуация для него также осложнялась из-за официальной позиции Петербурга по данному вопросу. Ведомый принципами легитимизма, Александр I осудил инсургентов, клеймив их якобинцами и карбонариями, выполнявшими волю «руководящего комитета» революционеров в Париже [*Николай Михайлович, вел. кн.*, 1912, с. 558]. Для него любой причастный к незаконному мятежу против

турецкого султана способствовал расшатыванию общественного порядка в Европе. Ожидать от императора защиты в такой ситуации было трудно.

Опасавшийся мести революционеров, Кантакузен решился искать помощи у своего сослуживца, начальника штаба 2-й армии генерала П. Д. Киселева. Тот согласился поддержать попавшего в беду коллегу. В письме без точной даты за 1822 г. Киселев писал начальнику Главного штаба князю П. М. Волконскому, что Кантакузен был втянут в этеристское дело обманом (ОР РНБ. Ф. 859. К-9, № 13. Л. 61–62 об.). Теперь, угрожаемый быть убитым, он более всего нуждался в царской протекции. К наиболее интересной стороне упомянутого эпизода относится аргументация, использованная князем Кантакузеном в послании к Киселеву, – послании, в первую очередь адресованном к Александру I.

Пытаясь обрисовать ситуацию с начала и высказывая свое отношение к мятежникам, Кантакузен писал, что «Филики Этерия» – это организация, действовавшая «в масонском жанре» и своими корнями уходившая к идеям Французской революции. При наборе новых членов ее лидеры руководствовались такими чувствами, как «суеверие и притворство» (Там же. Л. 44 об.). Подобные характеристики еще с конца XVIII в. применялись при описании масонов и иллюминатов. Продолжая свой рассказ, Кантакузен упоминал, что в качестве своей главной цели «Этерия» видела не только независимость греческой нации, но и необходимость посеять хаос в Османской империи. Ключевым свойством лидера восстания, князя А. И. Ипсиланти, он называл «вероломство» и преданность «подрывным идеалам» тайного общества. По словам Кантакузена, Ипсиланти с братьями отступил в Австрию из-за того, что до него дошли вести о разрушении «системы греческой Этерии в этих двух [Валахии и Молдавии. – Я. А.] княжествах» (Там же. Л. 41 об.).

Таким образом, князь Кантакузен, один из предводителей восстания 1821 г. и горячий противник турецкого владычества на Балканах, перекладывал на конспиративную организацию «масонского жанра» единоличную ответственность за начало Греческой революции. Последняя в его трактовке приобретала характер не освободительной войны, а заговора тайного общества, которое ложью вовлекало людей в свои ряды. Судя по всему, делал Кантакузен это вполне умышленно и целенаправленно, вразрез со своими взглядами. Оказавшись в тяжелом положении, он принял «правила игры» и начал говорить с властью на том языке, который она от него хотела услышать. Миф о заговоре, ретранслировавшийся со стороны Александра I и ряда видных сановников, настолько плотно пронизал всю официальную риторику, что быстро превратился для Кантакузена в стратегию для достижения собственных целей. Являлся ли его случай уникальным в истории России александровской эпохи? Отнюдь.

Приведенная выше интерпретация случая двухсотлетней давности была бы невозможна без кардинальных изменений, произошедших в изучении конспирологии за последние два десятилетия. Концепция «параноидального стиля», сформулированная Р. Хофштадтером в 1963 г. [Hofstadter, 1965], доминировала в литературе вплоть до конца 1990-х гг. Эта традиция маргинализировала конспирологический образ мышления, ассоциируя его с политической патологией и невротическими заболеваниями. По мнению Д. Пайпса, производство и распространение теорий заговора угрожало существованию либерализма и представительной демократии [Pipes, 1997, p. 49].

Пересмотр позиций параноидального стиля начался вместе с «постмодернистским поворотом» в исследованиях конспирологии в 2000-е гг. Рассматривая теории заговора с точки зрения разных языковых и культурных контекстов, исследователи находили в них примеры положительного действия. Сегодня в большинстве работ конспирология идентифицируется как комплекс вполне конструктивных практик, особая форма эпистемологии и знание, имеющее важное функциональное значение в дискурсе власти [Bratich, 2008, p. 1–25]. Согласно М. Fensterу, именно изучение теорий заговора является ключом к пониманию современной американской политики [Fenster, 2008, p. 24–30]. Стоит добавить, что не только американской и не только современной.

Проблема использования антизападных теорий заговора как инструмента национального строительства и политической мобилизации на постсоветском пространстве сегодня пользуется огромным вниманием. Из вышедших за последние годы монографий о конспирологии в эпоху постсоциализма стоит выделить исследования И. Яблокова, Э. Боренштейна и К. Ливерса [Ya-

blokov, 2018; *Borenstein*, 2019; *Livers*, 2020]. Несмотря на повышенный интерес, многие вопросы, касающиеся более ранних периодов бытования конспирологических нарративов в российской политической культуре, все еще остаются без ответа. В упомянутых текстах им посвящаются только небольшие разделы в начале.

Тем не менее, как показало исследование Г. Вуда [*Вуд*, 2016, с. 107–168], открывшее «нормальность» теорий заговора в рамках эпистемологии XVIII в., осознание какого-либо феномена, в т.ч. и конспирологии, невозможно в полной мере без изучения его исторических корней и происхождения. Например, нам известно, что теории заговора в современном понимании появляются в Европе в эпоху Просвещения, а по-настоящему массовый и универсальный характер они приобретают после Французской революции [*Биберштайн*, 2010, с. 89–121]. В подобном случае особую ценность для российского контекста представляет александровская эпоха, когда на фоне активизировавшегося культурного трансфера и глобальных катаклизмов разные дискурсы и идеи все более интенсивно попадали в страну.

Но в какой конкретно промежуток времени конспирология актуализируется и приобретает ведущее значение в России? Какова была нарративная структура мифа о заговоре на рубеже XVIII–XIX вв.? Что можно сказать о каналах распространения конспирологического дискурса? Кто, каким образом и для чего эксплуатировал мифологию заговора?

В исследованиях по конспирологии эти важнейшие проблемы остаются без должной интерпретации. К примеру, М. В. Хлебников подчеркивал, что «“теория заговора” на протяжении царствований как Александра I, так и Николая I проявляла себя в локальных рамках, будучи не востребовавшей как общественным сознанием, так и политической элитой страны» [*Хлебников*, 2014, с. 220]. С этой позицией можно согласиться лишь в том случае, если, как автор, сосредоточиться на анализе исключительно внутривнутриполитической канвы событий и оставить за пределами анализа внешнеполитический контекст. В схожей манере И. Яблоков перенес приоритетный фокус своей работы об антиамериканской конспирологической риторике в путинской России на более ранние периоды. В очень сжатой форме он выразил представление о том, что широкая функционализация мифа о заговоре в российском обществе берет начало лишь в 1850–1860-х гг. на фоне поражения в Крымской войне [*Yablokov*, 2018, р. 22–23]. Отождествляя конспирологический дискурс с антизападным, он не придал внимания тому, что как минимум в первой четверти XIX в. образ антагониста и главного заговорщика исполняли не коллективный Запад, а тайные общества.

Если обратиться к историографии российской истории на рубеже эпох, ситуация окажется не лучше. Хотя там и был сделан ряд примечательных выводов, учтенных в том числе и в этой статье, основные вопросы относительно мифа о заговоре остаются без ответа.

Так, А. Л. Зорин не только выявил одну из самых ранних дат проникновения мифа о заговоре в политическую культуру (публикация оды В. П. Петрова «На заключение с Оттоманскою Портою мира» в 1775 г.), но и описал первый яркий пример его имплементации: использование конспирологической риторики членами «Русской партии» в борьбе с М. М. Сперанским [*Зорин*, 2001, с. 187–239]. Эти ценнейшие выводы остались без дальнейшего развития в силу иных целей исследования. Ранние этапы бытования мифа о заговоре в форме масонофобии во второй половине XVIII в. рассматривал Д. Смит. Он отмечал, что масштабы риторики, направленной против масонов, были незначительными и не находили широкого отклика в кругах власти. Кроме того, сама мифологема носила по большей части религиозно-бытовой характер, но никак не политический [*Смит*, 2006, с. 160–166]. В заключении Смит вкратце упоминал, что по-настоящему конспирологические нарративы стали популярны лишь к концу правления Александра I.

О ключевой роли мифологема всеевропейского заговора в российской политической действительности 1820–1830-х гг. писала Т. В. Андреева. Введя в научный оборот крайне интересный термин, она характеризовала мифологема как инструмент для решения внутри- и внешнеполитических проблем царским правительством [*Андреева*, 2009, с. 520–522]. Подобное определение оставляет место для обновленной интерпретации данного концепта по отношению не только к высшим эшелонам элиты и политической программе Александра I, но и к более широким слоям истеблишмента в дискурсивном измерении. Н. Д. Потапова исследовала конкретный сюжет о применении конспирологии для конструирования официальной версии восстания декабристов в 1825 г. Одновременно с рядом полезных замечаний о природе данного

феномена она преимущественно ассоциировала его распространение и использование с ультраконсервативными политиками, что далеко не всегда было так [Лотанова, 2017, с. 330–363].

Краткий обзор литературы должен был показать, что проблема функционирования конспирологического дискурса в российской политике в начале XIX в. нуждается в лучшей разработке. Как в текстах, посвященных конспирологии, так и в трудах по истории екатерининско-александровского периода этой теме уделяется только второстепенное место. Ее важность при этом неоспорима, учитывая ту огромную роль, которую теории заговора играли в политическом процессе в Российской империи и продолжают играть до сих пор. Данной статьей я постараюсь закрыть некоторые из существующих лакун в историографии. Ниже речь пойдет о том, почему именно в 1820-е гг. миф о заговоре приобрел невиданную до этого популярность, какова была структура данной языковой гегемонии, кого можно идентифицировать в числе ее основных акторов и какими особенностями отличалась конспирология, эксплуатируемая в качестве дискурсивного инструмента, риторической стратегии и языка самоидентификации.

Фундаментальная категория, которой оперируют авторы, исследующие конспирологию в XVIII–XIX вв., это т.н. «миф о заговоре». Термин оказался впервые популяризован Дж. Робертсом [Roberts, 1972, р. 9–18], и впоследствии количество упоминаний «мифов» в литературе увеличивалось в арифметической прогрессии: миф о заговоре масонов, иллюминатский миф, миф об иезуитском заговоре, еврейском заговоре, иудео-большевистском заговоре и т.д. В данном исследовании речь идет о мифе, повествующем о заговоре тайных обществ, так как для большинства современников практически все тайные общества следовали одной деструктивной цели и зачастую полностью отождествлялись друг с другом.

Под мифом о заговоре я подразумеваю политический миф, отличный от мифа священного и в первую очередь связанный с политической культурой. Согласно определению Г. Тюдора, политическим мифом можно называть повествование на политическую тему, завязанное вокруг событий, правдивых или близких к реальности, в драматической форме, с протагонистами и антагонистами, использующееся современниками для ориентации в политическом пространстве, социальной и политической (само)идентификации, осмысления собственных действий и достижения специфических целей (материальных и духовных) [Tudor, 1972, р. 137–138].

Миф о заговоре тайных обществ начал формироваться с конца XVII в. как ответ интеллектуалов на социальные, культурные и эпистемологические пертурбации, вызванные, в частности, эпохой Просвещения [Биберштайн, 2010, с. 24–89; Хлебников, 2014, с. 63–104; Вуд, 2016, с. 107–168]. Свой «законченный вид» он приобрел в капитальном труде аббата О. Баррюеля, представлявшим реакцию на Французскую революцию. «Библия конспирологических мифов и источник всех последующих антимасонских сочинений», «Памятные записки к истории якобинства» вобрали в себя всю предшествующую литературную традицию конспирологии [Roberts, 1972, р. 74]. Их основная суть сводилась к тому, что в мире давно зрел заговор всемогущих тайных обществ, направленный на уничтожение законной власти и установление царства хаоса и анархии. Переведенная на крупнейшие европейские языки, книга Баррюеля стала «классической» формой мифа о заговоре тайных обществ, овладевшего умами элит континента.

Если глобальный миф о заговоре повествует о разных «силах зла» (масоны, иллюминаты, якобинцы, евреи) и событиях (начиная от разорения Ордена тамплиеров и заканчивая современными революциями), то мифологема заговора Парижского комитета представляет из себя его составную часть, сосредоточенную лишь на одном из архетипов [Bottici, 2007, р. 99–100]. Обладающая теми же характеристиками, что и миф, мифологема сконцентрирована вокруг конкретной истории о присутствии в Европе некоего «руководящего комитета», чаще всего идентифицируемого в Париже, стремящегося к низвержению «социального порядка» на всем континенте путем распространения революций и переворотов. В 1815–1825 гг. в конспирологическом сознании Европы и России доминировал именно этот нарратив [Биберштайн, 2010, с. 152–158; Андреева, 2009, с. 480–524].

Берущая начало в упоминании Баррюеля о «генеральном штабе революционеров», в дальнейшем, под влиянием слухов о существовании «Великой тверди» и прокатившейся волны южноевропейских революций, мифологема приобретает более явные черты. Одной из ее известных ретрансляций было т.н. «Кредо» австрийского канцлера К. Меттерниха [Шебунин,

1925, с. 178–179]. Основываясь на прочтении различных нарративов, через которые мифологема воспроизводилась в политическом дискурсе, можно выделить пять сюжетов, составлявших ее основу: 1) в Европе существует сеть революционных обществ, контролируемых руководящим комитетом в Париже; 2) эти тайные общества, в свою очередь, состоят из офицерства и представителей «третьего сословия»; 3) их главной целью является введение конституции и ликвидация абсолютной монархии; 4) в достижении поставленных задач революционеры ничем не гнушаются, в т.ч. цареубийством; 5) последствия действий заговорщиков катастрофичны: анархия, хаос, беспорядки, войны и гибель тысяч людей.

Доминирование мифологема в правительственном дискурсе являлось частью масштабного процесса проникновения конспирологической парадигмы в русскую политическую риторику в 1820-е гг. Именно с этого момента, а не с Крымской войны или революции 1917 г. нужно вести отсчет традиции, в конечном счете эволюционировавшей в грозную дискурсивную стратегию и политическое оружие. Представляется, что связано это с тремя главными причинами.

Во-первых, это перевод на русский язык и рецепция ключевых текстов конспирологической традиции, в частности О. Баррюеля и Дж. Робайсона. О популярности «Памятных записок» говорит то, что в России они были опубликованы в большом тираже и двумя изданиями. По косвенным данным можно заключить, что на самом вершине правящей иерархии этот труд знали многие. В памятной записке за 1810 г. Александру I рекомендовал прочитать Баррюеля Ж. де Местр, к мнению которого первый прислушивался [Биберштайн, 2010, с. 163–164]. Впоследствии император будет часто использовать речевые фигуры («синагога Сатаны», «заговор против всех алтарей»), упоминавшиеся в «Памятных записках» [Зорин, 2001, с. 204–205]. Напрямую о своем знании концепции французского консерватора говорил великий князь Константин Павлович. Обсуждая со своим адъютантом Ф. П. Опочининым следствие над декабристами, он писал: «Я на сие сказал Вам, что каким порядком организовывались таковые общества, это не новое, а давно уже известно из книги аббата Баррюеля об иллюминатах...» (Цесаревич Константин Павлович..., 1873, с. 390).

Еще одним повлиявшим фактором оказалось распространение в кругах имперской элиты религиозно-мистических настроений. А. Мартин обстоятельно изучил данный феномен, обозначая третий этап в развитии российского консерватизма первой четверти XIX в. как религиозный [Martin, 1997, р. 143–144, 152–153]. Формирование консервативной повестки в это время переходит в руки государства, которое в лице различных акторов, близких к т.н. «мистической партии» (А. Н. Голицын, Р. А. Кошелев, А. Ф. Лабзин и др.), продвигало сектантство и протестантство в образованные слои. Важность этого процесса исходила из того, что клерикальная и мистическая лексика составляла фундамент конспирологического дискурса [Потанова, 2017, с. 142]. Выказывая свою ненависть по отношению к европейским революционерам, Александр I делал упор на их «безбожии» и «неверии», сравнивая возможную победу всемирной революции с пришествием Антихриста. Популяризации мифа о заговоре способствовали также иерархи православной церкви, применявшие его в нападениях на мистиков.

Наконец, первоочередным условием закрепления за конспирологическим дискурсом гегемонного статуса являлся внешнеполитический контекст. Судя по формальной переписке и дипломатическим донесениям разных русских посланников, официальной риторике МИД и реакции самого императора, все революционные восстания в Южной Европе воспринимались сквозь призму мифа о заговоре [Белоусов, Абдуллаев, 2021]. Роль Александра I была особо велика: как монарх и глава государства, он ретранслировал персональную веру во всемогущество Парижского комитета на своих подчиненных и на внутривнутриполитическую сцену. Именно под влиянием начала Испанской революции в 1820 г. царь увидел в бунте Семеновского полка признаки скрытых врагов (Записка графа..., 1868, с. 250–252).

Как отмечал Н. Фэркло, не только дискурс формирует общество, но и социальные практики влияют на развитие дискурсивной формации [Fairclough, 1995, р. 183–215]. Революции 1820-х гг. заставляли людей верить в заговоры тайных обществ в той же степени, в какой и миф о заговоре утверждал в наблюдателях этих событий уверенность в их конспиративном происхождении. И, конечно, каждый человек в силу происхождения, особенностей биографии, социального и локального контекста воспроизводил лишь те мифические нарративы, которые в его ситуации выглядели наиболее «продуктивно».

В понятийном смысле «конспирологический дискурс» шире, чем миф о тайных обществах и тем более мифологема о заговоре Парижского комитета. Последние представляют из себя сюжетные нарративы и их многочисленные интерпретации, входящие, наравне с другими высказываниями и текстами, также посвященными заговору, но не попадающими в конкретную традицию мифа, в обширное поле конспирологического дискурса. Не имея возможности описать точно, где проходили границы этого языка, попытаемся примерно идентифицировать каналы его распространения.

В первую очередь это иерархическое пространство бюрократического аппарата. Знание о заговорах шло как сверху вниз, от императора к его чиновникам, так и снизу вверх, от многочисленных рапортов и депеш, подтверждавших опасения или расчеты начальствующих лиц и самого монарха. Чем глубже человек был втянут в чиновную систему, тем больше он находился в поле циркуляции конспирологических артикуляций. Последние могли проявляться как в личных разговорах и переписке, так и в формальной документации. Порой, как в случае с И. А. Каподистрией, отставка и отдаление от эпистемического сообщества чиновников приводили к уменьшению упоминаний теорий заговора тем или иным индивидом.

Основным носителем конспирологических артикуляций, основанных на письменной традиции, выступали образованные элиты. Учитывая при этом не до конца «зрелый» характер российской публичной сферы в первой четверти XIX в., ее тесную связь с государственными структурами, а также доминирование государства в продвижении консервативной мысли в 1820-е гг. [Martin, 1997, 39–57], можно утверждать, что именно бюрократия (особенно дипломаты) была центральным проводником мифологемы заговора Парижского комитета в социальной сфере и политической риторике. Другим важным пространством являлась церковь в лице отдельных священнослужителей, подобных архимандриту Фотию (Спасскому) и митрополиту Серафиму (Глаголевскому), в большей степени придававшая мифологеме антиправославные черты. Конспирологический дискурс, как и многие другие «новинки» Просвещения на рубеже эпох, экспортировался в русское общество «сверху вниз», со стороны государства.

Определившись с тем, как конспирология стала столь мощным аспектом российской политики в 1820-е гг., и кто являлся принципиальными «глашатаями» мифа о заговоре, теперь необходимо на более конкретном материале продемонстрировать, каким образом, по каким причинам и ради каких целей она использовалась представителями политической элиты. Конечно, это явление распространялось далеко за пределы интересов одной лишь «большой политики» в Петербурге. Конспирология в рамках политической культуры выступала инструментом и способом идентификации не только для монарха и министров, но и для деятелей, не столь высоко расположенных в «пищевой цепочке» русской бюрократии. Хорошей иллюстрацией этого тезиса служит история М. Н. Булгари.

После отъезда Д. П. Татищева из Мадрида исполняющим обязанности поверенного в делах русской миссии в Испании стал молодой граф Булгари, которому в 1820 г. исполнилось 26 лет. Его семья отличалась свободололюбивыми нравами: Я. Н. Булгари долгое время входил в состав «Филики Этерии», жертвовал большие средства на дело греческих революционеров, за что и был в 1825 г. привлечен к следствию (инициированному Нессельроде из-за страха перед распространением «заговора» в России) (РГИА. Ф. 1630. Оп. 1. Д. 166. Л. 1), а затем арестован. Н. Я. Булгари – декабрист, член Южного общества, лишенный чинов и дворянства, приговорен к годовой каторге [Сафонов, 2020, с. 76–84]. Сам М. Н. Булгари также отличался «передовыми взглядами», придерживался схожих с Каподистрией либеральных позиций. По некоторым слухам, он даже числился в «Этерии» (РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186а. Л. 164 об.). Булгари занимал престижную должность, но так и не добился места на олимпе бюрократического аппарата. В Мадриде он столкнулся с явным недопониманием начальства и последовавшей реакцией из Петербурга, прекрасно демонстрирующей его подчиненное положение.

Еще в январе – феврале 1820 г. российский дипломат в ходе нескольких аудиенций и через ряд посланий советовал испанскому королю Фердинанду VII даровать конституцию и предоставить дополнительные свободы народу. Так он планировал стабилизировать обстановку в стране, явно расшатанную январским восстанием Рафаэля Риго в Кадисе. Как указывал А. Л. Нарочницкий, уже в марте «зарвавшегося» Булгари поступил строжайший выговор от гла-

вы МИД К. В. Нессельроде за своевольные действия [*Нарочницкий*, 1988, с. 49–50]. Хотя в столице поведение испанского монарха также не слишком одобряли, к весне 1820 г. разговоры о конституциях для отечественного истеблишмента стали приобретать табуированный характер.

Оказавшись в опальном положении, Булгари нашел выход из ситуации посредством имплицитных переговоров с властью в одобряемом ей тоне. Чтобы «загладить вину» и вернуть кредит доверия своего шефа, он постепенно меняет тон своих донесений. Любые мысли о сотрудничестве с испанскими либералами исчезают из его депеш, Булгари полностью концентрируется на обличении ужасов революции. В его артикуляциях она однозначно была инициирована тайными обществами. Он передавал в Петербург, что взбунтовавшиеся войска руководятся членами конспиративных союзов, которые «постоянно доказывают властям страны, что партия бунтовщиков слишком сильна, чтобы бояться правительства» (Внешняя политика России..., 1979, с. 233). Приложения к депешам дипломата за май 1822 г. пестрят сообщениями о различных «клубах», «патриотических обществах», «тайных обществах» (ОР РНБ. Ф. 762. Оп. 1. Д. 71. Л. 8 об.–36), которые во всех районах Испании координируются из Мадрида, а их головной центр – в Париже (ОР РНБ. Ф. 762. Оп. 1. Д. 72. Л. 2–22 об.).

Он также открыто транслировал мысль о потенциальном регicide и убийстве аристократов: «Не щадили и короля; мараты и робеспьеры Полуострова распространили в столице и даже в самом дворце список лиц, которые должны были быть принесены в жертву народной мести» (Внешняя политика России..., 1979, с. 310). Ссылки на реалии Французской революции присутствовали в обилии в корреспонденции Булгари. Вполне возможно, что многие из них он почерпнул из книги Баррюеля. На это дополнительно указывают его донесения в Петербург за 1820–1822 гг., в которых встречаются обвинения в адрес солдат, напоминавших «карманьолец 1793 г.». Из его переписки с Каподистрией видно, как беспокоили временного посланника в Мадриде «твердость» положения революционеров и приобретение ими перевеса над роялистами (ОР РНБ. Ф. 762. Оп. 1. Д. 124. Л. 14).

Либеральный Булгари, побоявшись за свою карьеру после неудачных конституционных разговоров, принял на вооружение язык заговора. Обвиняя карбонарские венты и Парижский руководящий комитет в разжигании революции, отказавшись от любых идей о послаблениях, он демонстрировал свою лояльность царскому курсу и идентифицировал себя с ним. Конспирология в его случае сыграла роль инструмента, необходимого для восстановления отношений с начальством и сохранения служебного поста. В обозначенном контексте Булгари говорил в унисон с монархом, видевшим в либеральном трехлетии заговор «революционных либералов, радикалов и международных карбонариев» [*Николай Михайлович, вел. кн.*, 1912, с. 247], царевичем Константином, обеспокоенным проникновением «извергов общественного порядка» (Николай I..., 2007, с. 44) из Испании в Россию, а также практически со всей политической элитой страны.

Мифологема Парижского комитета нередко выступала своеобразным «языковым формуляром», нормой «этикета» при высказывании своей точки зрения. Если тот или иной приближенный к власти хотел выразить мнение, отличное от видения императора и официального вектора, он должен был обернуть свои слова в «нужную обертку». Наиболее ярко это проявилось во время Греческой революции, вызвавшей раскол в рядах имперского руководства [*Фадеев*, 1958, с. 47–85]. Пока царь и некоторые сановники отстаивали позицию мира и осуждения мятежников, большая часть элиты ратовала за объявление войны Турции и поддержку православных греков. В свою очередь, чтобы сделать это, им нужно было принять правила игры и хотя бы гипотетически допустить возможность заговора тайных обществ.

Влиятельный интеллектuala александровской эпохи, занимавший должность секретаря канцелярии управляющего МИД, А. С. Стурдза столкнулся с подобной ситуацией. Грек-фанариот по матери, потомок господарей Молдавии, Стурдза всегда уделял много внимания греческому вопросу. При этом его взгляды в отношении тайных обществ и европейских революций представляли из себя показательный пример артикуляции мифологеми о заговоре [*Prousis*, 1992, p. 320]. Греческая революция оказалась единственным кейсом, оцененным им по-иному. Тогда он поддержал восстание против законной власти и публично встал на его сторону. Стурдза разделял точку зрения о необходимости объявления войны Турции и создании независимого греческого государства (РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 2. Д. 15. Л. 5–8 об., 13–20 об., 21–24 об.). Однако форма выражения мысли и язык его интерпретаций оставались пропитанными конспирологическим духом.

В ряде публичных текстов Стурдза предпринял попытку отмежевать Греческое восстание от южноевропейских революций, ассоциируемых с карбонариями, допуская разного рода оговорки в духе мифологемы. Так, в записке «О греческих делах» от 27 июля 1821 г. революционная природа инсurreкции Ипсиланти размывалась в более общем историко-культурном контексте. По мнению Стурдзы, несмотря на «возможность и даже правдоподобность» того, что события в Валахии могли быть подготовлены руководящим комитетом из Парижа, подобного рода «частные интриги» теряли свое значение на фоне основной причины восстания – стремления греков освободиться из пут тирании султанов и визирей, «столь же трусливых, сколь кровожадных и некомпетентных» (РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 22. Л. 3).

Аналогичным выстраиванием аргументации отличалось опубликованное в 1822 г. короткое произведение «Греция в 1821 и 1822 году». Оно представляло из себя воображаемую переписку между двумя персонажами, один из которых желал приравнять греков к прихвостням парижского комитета карбонариев, а другой, наоборот, убедить первого и, соответственно, читателя в том, что восстание носило освободительный и религиозный характер [*Stourdza*, 1823, р. 1–10, 13–40, 40–56]. Включение в повествование актора с нарочито конспирологическими настроениями говорит об осознании Стурдзой широкого присутствия подобных взглядов и о его собственном пребывании в поле гегемонии. Данный факт он капитализировал, одновременно отождествляя себя с заботами режима и совершая призыв к смене официального курса.

Описанная здесь «языковая игра» вскоре станет распространенной манерой письма. Проецируя мифологему на начальную стадию Греческой революции и подтверждая ее «конспиративное происхождение», в дальнейшем авторы артикуляций будут переводить нарратив в плоскость «благородности намерений» и независимого от неудавшегося восстания «Этерии» развития войны за независимость. Ярким образцом таких текстов является созданный в 1825 г. Д. В. Дашковым на основе записок беглого князя Ханджери «Исторический мемуар о происхождении и успехах Этерии» (РГИА. Ф. 1630. Оп. 1. Д. 168. Л. 14–19 об.). Пример Стурдзы окажется заразительным.

Большая часть приведенных в статье примеров касалась людей, относившихся к мифологеме заговора прагматически и без особой искренности. Несмотря на проблематичность распознавания «настоящей веры» в целом, личность архимандрита Фотия и его яростная борьба с «нечестивцами-мистиками» заставляет задуматься о наличии акторов, принимавших идею о намерениях тайных обществ за чистую монету. В плане ненависти к «адептам безбожия» и «врагам православия» он мог бы посоперничать лишь с самим Александром I. Правда, в отличие от всемогущего монарха, он полагался на подобные нарративы не только в смысле восприятия политической действительности, но и самого непосредственного участия в ней. Задолго до конспирологической легитимации политического насилия в Советском Союзе и Российской Федерации, архимандрит Фотий продемонстрировал, как конспирология может повлиять на исход борьбы за власть [*Livers*, 2020, р. 22–23].

С самых первых лет своего пребывания в Петербурге, Фотий развернул публичную критику популярного тогда масонства. Считается, что он оказал большое влияние на царя Александра при издании указа о запрете тайных обществ в 1822 г. Риторика, ориентированная против конспиративных союзов, использованных священнослужителем во «внутрисистемном конфликте» между «православной партией» и «партией мистиков». Фотий проводил «революционный» континуитет между «карбонарским обществом» И. В. Лопухина, А. И. Тургенева и Н. И. Новикова и «дерзостным поборником карбонарским, врагом клятвенной веры и церкви и государства» Лабзиным [*Кондаков*, 2020, с. 682–683].

Особенно ярко это проявилось в 1824 г., ставшим апогеем конфронтации политических элит. В своих многочисленных выступлениях перед придворными и во время личных аудиенций с Александром I настоятель Юрьева монастыря продвигал мысль о наличии страшного заговора против русской монархии и православной церкви [*Минаков*, 2011, с. 313–322]. В качестве основных врагов он упоминал и тайные общества, и представителей разных протестантских конфессий, например методистов и квакеров. По его мнению, посредством ложных интерпретаций Библии, издания «вредных» произведений и проникновения в окружение царя они планировали установить торжество «сатанинской религии», возродить «дух яростной революции и Республики» и ввергнуть мир в пучину Армагеддона (ОР РНБ. Ф. 380. Оп. 1. Д. 87. Л. 16 об.).

Как известно, «православная партия» одержала верх над «мистиками»: Министерство духовных дел и народного просвещения было расформировано, а Библейское общество вскоре распустило. Это один из редких в истории России примеров, когда «системная оппозиция» победила «действующие» элиты. Причиной подобного исхода стало использование архимандритом Фотием политической риторики, основанной на мифе о заговоре тайных обществ. Он инструментализировал конспирологический дискурс в целях борьбы за власть над церковной политикой. Речи Фотия о могущественном заговоре и происках врагов пришлось как нельзя кстати в свете изменившегося настроения Александра I [Martin, 1997, p. 198–202].

Воспользовавшись благоприятным политическим контекстом, Фотий реализовал дискурсивную стратегию, в конечном счете позволившую ему и его сторонникам добиться успеха. Наряду с отставкой Сперанского этот кейс стал одним из первых в отечественной истории примеров «создания козла отпущения» (scapegoating) [Girard, 1989] в рамках политического конфликта с опорой на конкретный миф о заговоре. Интересно, что интерпретация мифа Фотием несколько отличалась от содержания мифологемы Парижского комитета и отражала тенденции, впоследствии более характерные для 1830-х гг. [Гордин, 2015]

Стержневой особенностью политической риторики в России на исходе александровской эпохи являлся присущий ей конспирологический тон. Вне зависимости от того, выражал ли тот или иной деятель свое согласие или несогласие с официальным курсом, руководствовался ли он корыстными или искренними мотивами, имел незначительные карьерные интересы или участвовал в политической борьбе общеимперского масштаба, он должен был уметь говорить на языке власти, т.е. на языке мифа о заговоре. Начавшая проникать в Россию еще с середины XVIII в. в виде антимасонских произведений, в 1820-е гг. мифология заговора особенно актуализировалась в общественном сознании. Артикуляция конспирологических нарративов стала способом преодоления уникальных препятствий, языком высказывания оппозиционных взглядов и демонстрации лояльности режиму, оружием в политических конфликтах. На первых порах применение этих практик было более всего характерно для представителей императорского двора, высшего сановничества, духовенства и дипломатического корпуса (на разных его уровнях). Чувствуя в них пользу как в гностическом, так и в практическом измерении, в зависимости от конкретной ситуации, в которой они находились, элиты включали различные сюжеты из обширного пласта мифа о заговоре тайных обществ в собственный репертуар риторических стратегий.

Причины актуализации мифа о заговоре, выделенные в контексте первой четверти XIX в., могут быть использованы как модель для измерения динамики развития конспирацизма на протяжении остального столетия. Эти технические (основные тексты и их доступность), эпистемологические (доминирующие режимы производства знания), эмоциональные (эволюция образов чувствования), политические (внешние и внутренние угрозы) и нарративные (изменение мифа о заговоре) факторы способствовали дальнейшей трансформации и экспансии культуры заговоров. Представленные здесь промежуточные выводы должны открыть новые перспективы для написания истории конспирологии в дореволюционной России и переосмысления русской конспирологической традиции в целом.

Примечания

¹ Исследование выполнено в рамках гранта № 21-78-10052 «От Кадисской конституции к Петербургскому восстанию: трансфер дискурсов, идей, эмоций в эпоху бидермайера» Российского научного фонда.

Список источников

- Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 380. Оп. 1. Д. 87. Л. 16 об.; Ф. 762. Оп. 1. Д. 71. Л. 8 об.–36; Д. 72. Л. 2–22 об.; Д. 124. Л. 14; Ф. 859. К-9, № 13. Л. 41 об., 44 об., 61–62 об.
- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1630. Оп. 1. Д. 166. Л. 1; Д. 168. Л. 14–19 об.
- Рукописный отдел Института русской литературы (РО ИРЛИ). Ф. 288. Оп. 1. Д. 186а. Л. 164 об.; Оп. 2. Д. 15. Л. 5–8 об., 13–20 об., 21–24 об.; Д. 22. Л. 3.

Внешняя политика России XIX и начала XX века: документы российского Министерства иностранных дел. Серия вторая (1815–1830). В 8 т. / отв. ред. А.Л. Нарочницкий. Т. 3 (11). Май 1819 г. – февраль 1821 г. М.: Политиздат–Наука, 1979. 878 с.

Записка графа Иоанна Каподистрии о его служебной деятельности // Сборник Императорского Русского исторического общества. 1868. Т. 3. С. 177–310.

Николай I: личность и эпоха. Новые материалы / отв. ред. А.Н. Цамутали; отв. сост. Т.В. Андреева. СПб.: Нестор-История, 2007. 524 с.

Цесаревич Константин Павлович в 1826 г.: переписка с Ф.П. Опочининым // Русская старина. 1873. Т. 8, вып. 8. С. 372–397.

Библиографический список

Андреева Т.В. Тайные общества в России в первой трети XIX в.: правительственная политика и общественное мнение. СПб.: Лики России, 2009. 912 с.

Арш Г.Л. Этеристское движение в России: освободительная война греческого народа и русско-греческие связи. М.: Наука, 1970. 372 с.

Белусов М.С., Абдуллаев Я.С. Первые испанские революции и правящие верхи Российской империи // Российская история. 2021. № 1. С. 46–57.

Биберштайн И.Р. Миф о заговоре. Философы, масоны, евреи, либералы и социалисты в роли заговорщиков. СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 2010. 400 с.

Вуд Г. Заговор и параноидальный стиль: казуальность и обман в XVIII веке // Идея Америки. Размышления о рождении США. М.: Весь мир, 2016. С. 107–168.

Гордин Я.А. Дело о масонском заговоре, или Мистики и охранители. СПб.: Вита Нова, 2015. 496 с.

Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 416 с.

Кондаков Ю.Е. Документы о масонстве из архива архимандрита Фотия (Спасского) // Вестник архивиста. 2020. № 3. С. 676–691.

Минаков А.Ю. Русский консерватизм в первой четверти XIX в. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011. 560 с.

Нарочницкий А.Л. Испания 1808–1823 гг. глазами российских дипломатов // Вопросы истории. 1988. № 2. С. 41–53.

Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I: опыт исторического исследования: в 2 т. СПб.: Экспед. заготовл. гос. бумаг, 1912. Т. 1. 636 с.

Потапова Н.Д. Трибуны сырых казематов: политика и дискурсивные стратегии в деле декабристов. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2017. 416 с.

Сафонов М.М. Всеевропейский заговор, «Филики Этерия», декабризм // Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2020. № 20 (1). С. 58–96.

Смит Д. Работа над диким камнем: масонский орден и русское общество в XVIII веке. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 224 с.

Фадеев А.В. Россия и восточный кризис 20-х годов XIX века. М.: Наука, 1958. 396 с.

Хлебников М.В. «Теория заговора». Опыт социокультурного исследования. М.: Кучково поле, 2012. 464 с.

Шебунин А.Н. Европейская контрреволюция в первой половине XIX века. Л.: Сеятель, 1925. 231 с.

Borenstein E. Plots Against Russia: Conspiracy and Fantasy after Socialism. Ithaca: Cornell University Press, 2019. 306 p.

Bottici C. A Philosophy of Political Myth. New York: Cambridge University Press, 2007. 286 p.

Bratich J.Z. Conspiracy Panics: Political Rationality and Popular Culture. New York: State University of New York Press, 2008. 229 p.

Fairclough N. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. New York: Longman Publishing, 1995. 265 p.

Fenster M. Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture. 2nd ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008. 371 p.

Girard R. The Scapegoat. Baltimore: John Hopkins University Press, 1989. 232 p.

Hofstadter R. The Paranoid Style in American Politics. New York: Knopf, 1965. 314 p.

Livers K.A. Conspiracy Culture: Post-Soviet Paranoia and the Russian Imagination. Toronto: University of Toronto Press, 2020. 307 p.

Martin A.M. Romantics, Reformers, Reactionaries: Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I. DeKalb: North Illinois University Press, 1997. 294 p.

Pipes D. Conspiracy: How the Paranoid Style Flourishes and Where It Comes From. New York: Free Press, 1997. 272 p.

Prousis Th.C. Aleksandr Sturdza: A Russian Conservative Response to the Greek Revolution // East European Quarterly. 1992. Vol. 26, no. 3. P. 309–344.

Roberts J.M. The Mythology of the Secret Societies. New York: Charles Scribner's Sons, 1972. 380 p.

Stourdzia A. La Grèce en 1821 et 1822. Correspondance politique publiée par un Grec. Paris: Dufart, 1823. 100 p.

Tudor H. Political Myth. London: Macmillan Press, 1972. 157 p.

Yablokov I. Fortress Russia: Conspiracy Theories in the Post-Soviet World. New York: Polity, 2018. 288 p.

Дата поступления рукописи в редакцию 13.06.2022

THE “PARIS COMMITTEE” PLOT: CONSPIRACY THEORIES AND IMPERIAL ELITES IN RUSSIA IN THE LATER YEARS OF ALEXANDER I'S REIGN

Y. S. Abdullaev

University of California, Berkeley 3229 Dwinelle Hall, UC Berkeley, Berkeley, CA 94720-2550, USA

yasyn_abdullaev@berkeley.edu

ORCID: 0000-0001-5423-8602

ResearcherID: X-7502-2019

Scopus Author ID: 57205299717

Despite the recent surge of interest in studies of conspiracy theories in Russia and post-Soviet countries, scholars still largely neglect the early nineteenth-century period, which is nonetheless crucial for the understanding of the Russian conspiratorial tradition. This paper aims to bridge the existing gap by offering a new interpretation of the conspiracism and dynamics of its production and dissemination in the later years of Alexander I's reign. Echoing ongoing historiographical debates, it identifies the 1820s as a starting point for the intervention of the conspiratorial discourse into Russian political culture and public opinion. Several crucial factors predetermined the actualization of the myth of global conspiracy at this time: the reception of Western conspiracy theorists' works, growing mystical sentiments in the court, and the revolutionary crisis in Southern Europe. By applying the “generative” model from the latest conspiracy studies and the theory of political myth, the essay argues that functionality was a core element of the conspiracy mythology in Alexandrine Russia. Civil servants, diplomats, and clergymen at multiple levels of the ruling hierarchy utilized conspiracy narratives to satisfy their demands. Through the myth's articulation, they helped themselves to comprehend the causality of political events, solve various career problems, pledge loyalty to the monarchy, identify with power hegemony, and struggle in an intra-elite competition. To substantiate the outlined theses, a wide array of archival and published materials related to specific cases of conspiracy rhetoric's implementation was deployed and analyzed. Overall, the findings presented here might help to open unexplored perspectives for the reexamination of the instrumental relevance of conspiracy theories for the educated classes, to come up with a modified approach for studying Russian conspiratorial culture and the continuity of its modern form with the imperial one.

Key words: conspiracy theories, the myth of global conspiracy, political culture, the 1820s European revolutions, Alexander I, Aleksandr S. Sturdza, Archimandrite Photius.

Acknowledgments

¹ The research was supported by the grant № 21-78-10052 “From the Cadiz Constitution to the Petersburg Uprising: Transfer of Discourses, Ideas, Emotions in the Biedermeier Era” of the Russian Science Foundation.

References

Andreeva, T. V. (2009), *Taynye obschestva v Rossii v pervoy treti XIX v.: pravitel'stvennaya politika i obschestvennoe mnenie* [The Secret Societies in Russia in the early 19th century: Government Policies and Public Opinion], Liki Rossii, St. Petersburg, Russia, 912 p.

Arsh, G. L. (1970), *Eteristskoe dvizhenie v Rossii: osvoboditel'naiia voina grecheskogo naroda i russko-grecheskie sviazi* [The Hetairist Movement in Russia: The Liberation War of the Greek People and Russo-Greek Relations], Nauka, Moscow, USSR, 372 p.

- Belousov, M. S., Abdullaev, Ya.S. (2021), "The first Spanish revolutions and the ruling elite of the Russian Empire", *Rossiyskaya istoriya*, № 1, pp. 46–57.
- Bibershtain, I. R. (2010), *Mif o zagovore. Filosofiy, masony, evrei, liberaly i sotsialisty v roli zagovorshchikov* [The Conspiracy Myth. Philosophes, Freemasons, Jews, Liberals, and Socialists as Conspirators], Izdatel'stvo imeni N.I. Novikova, St. Petersburg, Russia, 400 p.
- Borenstein, E. (2019), *Plots Against Russia: Conspiracy and Fantasy after Socialism*, Cornell University Press, Ithaca, US, 306 p.
- Bottici, C. (2007), *A Philosophy of Political Myth*, Cambridge University Press, New York, US, 286 p.
- Bratich, J.Z. (2008), *Conspiracy Panics: Political Rationality and Popular Culture*, State University of New York Press, New York, US, 229 p.
- Fadeev, A. V. (1958), *Rossiya i vostochnyy krizis 20-kh godov XIX veka* [Russia and the Eastern Crisis of the 20s of the 19th Century], Nauka, Moscow, USSR, 396 p.
- Fairclough, N. (1995), *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, Longman Publishing, New York, US, 265 p.
- Fenster, M. (2008), *Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture. 2nd ed.*, University of Minnesota Press, Minneapolis, US, 371 p.
- Girard, R. (1989), *The Scapegoat*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, US, 232 p.
- Gordin, Ya.A. (2015), *Delo o masonskom zagovore, ili Mistiki i okhraniteli* [The Case of the Masonic Conspiracy, or Mystics and Reactionaries], Nova Vita, St. Petersburg, Russia, 496 p.
- Hofstadter, R. (1965), *The Paranoid Style in American Politics*, Knopf, New York, US, 314 p.
- Khlebnikov, M. V. (2012), «Teoriya zagovora». *Opyt sotsiokul'turnogo issledovaniya* ["Conspiracy Theory". The Experience of Sociocultural Study], Kuchkovo pole, Moscow, Russia, 464 p.
- Kondakov, Yu. E. (2020), "Documents on Freemasonry from the Archives of Archimandrite Photius (Spassky)", *Vestnik arkhivista*, № 3, pp. 676–691.
- Livers, K. A. (2020), *Conspiracy Culture: Post-Soviet Paranoia and the Russian Imagination*, University of Toronto Press, Toronto, Canada, 307 p.
- Martin, A. M. (1997), *Romantics, Reformers, Reactionaries: Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I*, North Illinois University Press, DeKalb, US, 294 p.
- Minakov, A. Yu. (2011), *Russkiy konservatizm v pervoy chetverti XIX v.* [Russian Conservatism in the First Quarter of the 19th Century], Izdatel'stvo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, Voronezh, Russia, 560 p.
- Narochnitskiy, A. L. (1988), "Spain of 1808–1823 through the eyes of Russian diplomats", *Voprosy istorii*, № 2, pp. 41–53.
- Nikolai Mikhailovich, vel. kn. (1912), *Imperator Aleksandr I: Opyt istoricheskogo issledovaniya. V 2-kh t.* [Emperor Alexander I: The Historical Study. In 2 vols.], vol. 1, Ekspeditsiya zagotovleniya gosudarstvennykh bumag, St. Petersburg, Russia, 636 p.
- Pipes, D. (1997), *Conspiracy: How the Paranoid Style Flourishes and Where It Comes From*, Free Press, New York, US, 272 p.
- Potapova, N. D. (2017), *Tribuny syrykh kazematov: politika i diskursivnye strategii v dele dekabristov* [Speaking from Their Cells: Politics and Discursive Strategies in the Decembrist Case], Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge, St. Petersburg, Russia, 416 p.
- Prousis, Th. C. (1992), "Aleksandr Sturdza: A Russian Conservative Response to the Greek Revolution", *East European Quarterly*, vol. 26, № 3, pp. 309–344.
- Roberts, J. M. (1972), *The Mythology of the Secret Societies*, Secker & Warburg, London, UK, 380 p.
- Safonov, M. M. (2020), "Pan-European conspiracy, "Filiki Eteria", Decembrism", *Trudy kafedry istorii Novogo i noveishego vremeni*, № 20 (1), pp. 58–96.
- Shebunin, A. N. (1925), *Evropeiskaya kontrrevolyutsiya v pervoi polovine XIX veka* [European Counterrevolution in the First Half of the 19th Century], Seiatel, Leningrad, USSR, 231 p.
- Smit, D. (2006), *Rabota nad dikim kamnem: Masonskii orden i russkoe obshchestvo v XVIII veke* [Working the Rough Stone: Freemasonry and Society in Eighteenth-Century Russia], Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow, Russia, 224 p.
- Stourdza, A. (1823), *La Grèce en 1821 et 1822. Correspondance politique publiée par un Grec*, Dufart, Paris, France, 100 p.
- Tudor, H. (1972), *Political Myth*, Macmillan Press, London, UK, 157 p.
- Vud, G. (2016), "Conspiracy and paranoid style: casualness' and deceit in the 18th century," in *Ideya Ameriki. Razmyshleniya o rozhdenii SShA* [The Idea of America. Thoughts about the Birth of the United States], Ves' Mir, Moscow, Russia, pp. 107–168.
- Yablokov, I. (2018), *Fortress Russia: Conspiracy Theories in the Post-Soviet World*, Polity, New York, US, 288 p.
- Zorin, A. L. (2001), *Kormya dvuglavogo orla... Literatura i gosudarstvennaya ideologiya v Rossii v posledney treti XVIII – pervoy treti XIX veka* [By Fables Alone: Literature and State Ideology in Late Eighteenth and Early Nineteenth-Century Russia], Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow, Russia, 416 p.